

ПРОСВЕЩЕННЫЙ НАСЛЕДНИК-3



ПАВЕЛ СМОЛИН

Павел Смолин

Просвещенный наследник 3

«Автор»

2026

Смолин П.

Просвещенный наследник 3 / П. Смолин — «Автор», 2026

Он начинал со свечей, амбарных книг и чужих недостатч. Теперь в его распоряжении — целая Российская империя. Павел отрёкся от престола, и Александр Павлович стал государем. Вот только власть оказалась не наградой, а самой большой ревизией в его жизни: чиновники, законы, образование, казна — всё требует порядка, и за каждой красивой реформой стоят тысячи людей, которым придётся этот порядок воплощать. А ещё есть заводы. Уральское железо, редёющие леса, старые технологии и Демидовы, которые знают о металлургии куда больше самого императора. Когда-то Александр случайно обронил два слова — «мартеновская печь». Теперь пришло время выяснить, можно ли превратить смутное знание человека из будущего в настоящий промышленный переворот. Просвещённый наследник вырос. Теперь ему предстоит просвещать уже не себя — а страну.

© Смолин П., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава 1	5
Конец ознакомительного фрагмента.	10

Павел Смолин

Просвещенный наследник 3

Глава 1

Глава 1

Весна тысяча восемьсот второго года пришла в Петербург рано и как-то сразу, без обычной для здешних мест долгой, нерешительной борьбы между снегом и грязью, — не прошло и недели после ледохода, как воздух сделался по-настоящему тёплым, и я, стоя однажды поутру у окна детской с Марией на руках, поймал себя на простой, ничем не отягощённой мысли, что впервые за минувший год чувствую себя не государем, обременённым тысячей неотложных забот, а просто отцом, разглядывающим, как дочь его, уже вполне уверенно держащая голову и провожающая взглядом каждую пролетающую за окном птицу, понемногу становится не свёртком в пелёнках, а человеком со своим собственным, пусть пока и бессловесным, характером. Страшная зима, едва не отнявшая её у нас, отступила настолько, что нянька позволяла себе уже шутить над тем, до чего звонким и требовательным сделался голос Марии после перенесённой хвори, — и я, вслушиваясь в этот голос, каждый раз ловил себя на благодарности, слишком глубокой, чтобы облекать её в слова даже наедине с самим собой.

Впрочем, утреннее это спокойствие, как и всякое иное спокойствие в моей здешней жизни, редко продолжалось более часа: не успел я передать дочь на руки няньке, как в дверях детской, с тем виноватым, но не терпящим отлагательства выражением лица, что за прошедшие годы я научился читать безошибочно, показался Веретенников с известием, что Виктор Павлович, Павел Александрович и Николай Николаевич уже ждут меня в кабинете, а Адам Ежи, задержанный накануне вечерним приёмом иностранного посланника, просил передать, что будет с минуты на минуту. Я вышел из детской не сразу — задержался ещё на мгновение у порога, оглянувшись на жену, устроившуюся в кресле у окна с шитьём, которое, я знал это совершенно точно, интересовало её сейчас куда меньше, чем происходящее в комнате, — и Елизавета, поймав мой взгляд, улыбнулась одними глазами, будто говоря без слов, что понимает: утро закончилось, началось государево дело.

Дорога до кабинета через анфиладу дворцовых комнат заняла у меня едва ли не больше времени, чем сам предстоящий разговор, — не потому, что путь был долог, а потому, что мысли мои, покуда ноги несли меня привычным маршрутом, успели пробежать вперёд, к самой сути дела, ради которого друзья мои ждали с самого утра. Речь шла о том, что все мы, не стовариваясь, откладывали вот уже полгода со дня коронации, — о том, чтобы превратить полуофициальные поручения, розданные каждому из них ещё в первые недели нового царствования, в нечто более прочное, чем добрая воля государя, способная в любую минуту перемениться вместе с переменой его настроения или, того хуже, вместе с переменой самого государя.

Кабинет встретил меня уже привычной за минувшие месяцы картиной: Кочубей, расположившийся в кресле у стола с той усталой основательностью человека, для которого управление внутренними делами обширнейшей в мире империи давно перестало быть предметом любопытства и сделалось попросту тяжёлой, ежедневной работой; Строганов, напротив, вышагивающий у окна с той нетерпеливой энергией, что не покидала его, кажется, ни при каких обстоятельствах, — даже сейчас, разбирая на ходу какие-то бумаги по училищной части, он умудрялся выглядеть так, будто вот-вот бросится осуществлять задуманное бегом; и Новосильцев, сидящий особняком у дальнего края стола с тем непроницаемым, будто вытесанным из английского дуба выражением лица, что я успел за прошедшие годы научиться отличать

от истинного равнодушия, — под этой невозмутимостью, я знал, скрывалось самое острое во всём кружке нетерпение довести дело до конца, не размениваясь на полумеры.

— Ваше величество, — произнёс Кочубей, поднимаясь при моём появлении с той же церемонностью, что и в первый день нашего знакомства, хотя формальности эти давно уже стали между нами не более чем привычным ритуалом, лишённым всякой холодности, — мы, признаться, успели без вас поспорить настолько, что рискуем начать сначала, едва вы усядетесь.

— Тем лучше, — сказал я, занимая своё место во главе стола, — значит, к делу перейдём быстрее обычного. Николай Николаевич, судя по вашему виду, уже готов был вынести приговор без суда и следствия.

— Готов, ваше величество, — не стал отпираться Новосильцев, и в голосе его, как всегда, не было и тени желания смягчить сказанное придворной обходительностью, — и приговор этот прост: коллегии себя изжили, и всякая полумера, оставляющая их существовать бок о бок с новыми ведомствами, обречена породить не порядок, а путаницу, в которой всякий нерадивый чиновник найдёт себе лазейку.

Строганов, оставив наконец свои бумаги, обернулся от окна с той горячностью, что делала его, при всей врождённой смывлёности, самым предсказуемым из всего кружка спорщиком.

— Полумера, Николай Николаевич, не всегда худшее из зол, — возразил он. — Коллегии, при всех их недостатках, привычны и чиновничеству, и дворянству, а мы затеваем реформу не в безвоздушном пространстве, а посреди страны, которая, при всей своей покорности, не любит перемен, обрушенных на неё разом и без предупреждения.

Я слушал этот спор, уже не в первый раз повторяющийся между ними в разных обличьях за минувшие месяцы, и ловил себя на давно знакомом чувстве, которое, пожалуй, точнее всего было бы назвать профессиональным — тем самым, что не оставляло меня с самых первых лет здешней жизни, когда я разбирал амбарные книги удельного управляющего, не подозревая ещё, во что вырастет эта детская привычка находить нестыковки в чужих расчётах. Вопрос, который занимал меня сейчас, был по сути своей тем же вопросом, что и тогда: кто отвечает. Не какое учреждение числится ответственным на бумаге, а какой человек, поимённо, обязан будет держать ответ, если дело, вверенное ему, пойдёт вкривь и вкось.

— Позвольте мне, — сказал я, дождавшись паузы в споре, — сформулировать вопрос иначе, чем мы формулировали его до сих пор. Не о том нужно спорить, заменяем ли мы коллегии министерствами разом или постепенно, а о том, готовы ли мы вовсе отказаться от самого коллегиального способа решения дел — от того порядка, при котором ответственность распределена меж десятком голосов настолько, что в случае беды виноватым не оказывается никто в отдельности.

— Именно об этом я и толкую с самого начала, ваше величество, — с явным облегчением подхватил Новосильцев. — Покуда решение подписывается коллегией, всякий её член вправе после сослаться на несогласие, которого никто не упомнит и не докажет задним числом. Ответственность одного лица — не жестокость, а единственная честная основа для всякого управления, желающего называться порядком, а не видимостью порядка.

— А если это лицо ошибётся? — спросил Строганов, впрочем, уже без прежнего жара, будто чувствуя, что спор понемногу склоняется не в его пользу. — Коллегия хотя бы удерживает от опрометчивости голосом большинства.

— Коллегия удерживает от ответственности, Павел Александрович, — сухо заметил Новосильцев, — а вовсе не обязательно от ошибки. Опыт английского парламента, за которым я имел случай наблюдать не первый год, свидетельствует ровно об обратном: министр, отвечающий за своё ведомство лично, всей своей репутацией и всей своей карьерой, куда осторожнее в решениях, нежели десять голосов, из которых ни один в отдельности не рискует ничем.

Кочубей, до сих пор молчавший, слушая обоих с той усталой, но внимательной задумчивостью, что я успел давно оценить в нём как редкое качество для человека его положения, наконец подал голос — не для того, чтобы разрешить спор в чью-либо пользу, а чтобы вернуть разговор к делу более практическому.

— Спор ваш, господа, стар, как сама реформа, и вряд ли разрешится сегодня окончательно, — сказал он. — Позвольте мне, как человеку, которому предстоит на практике возглавить одно из новых ведомств, задать вопрос иного рода: намерены ли мы упразднить коллегии разом, единым манифестом, рискуя тем самым посеять на первых порах настоящую путаницу в делопроизводстве, или дадим им угаснуть постепенно, покуда министерства не докажут собственную состоятельность?

Разговор этот, как и всякий подобный ему за минувшие месяцы, продолжался ещё немалое время, прежде чем мы сошлись на решении, которое, признаюсь, далось мне не без внутреннего колебания: манифест об учреждении восьми министерств — внутренних дел, иностранных, военных, морских, юстиции, финансов, коммерции и народного просвещения — будет обнародован разом, с ясным и недвусмысленным указанием личной ответственности министра за вверенное ему ведомство, но старые коллегии не упразднятся в одночасье, а будут постепенно, в течение ближайших лет, встраиваться в новую систему на правах департаментов — компромисс, устроивший, кажется, всех троих не до конца, что, по моему давнему уже убеждению, служило верным признаком решения не худшего из возможных. Кочубею предстояло возглавить министерство внутренних дел — прямое продолжение той работы, что он вёл неофициально с первых дней моего царствования; Адаму Ежи, чьё появление задержалось едва ли не до конца самого спора, — пост товарища министра иностранных дел, всё ещё скромный по сравнению с истинными его дарованиями, но заметно более весомый, нежели прежняя его должность; Строганову — во главе особой комиссии по устройству училищ, с прямым правом сноситься со всеми губерниями без посредства прочих ведомств; Новосильцеву же — не министерский пост, а нечто более деликатное и вместе с тем более важное для всего замысла в целом: официальный, отныне уже не тайный статус совещательного органа при особе государя для того самого Негласного комитета, что вот уже год как собирался по четвергам, обсуждая дела, которым только предстояло обрести законную силу.

Заседание наше близилось к концу, когда Веретенников, постучавшись, внёс на подносе утреннюю почту, среди которой оказалось прошение, доставленное накануне вечером из ведомства, покуда ещё числившегося за старой камер-коллегией, но фактически уже подведомственного Кочубею как будущему министру внутренних дел. Я вскрыл его без особого внимания, ожидая обычной чиновничьей просьбы о повышении или переводе, — и почувствовал, как внутри меня что-то холодеет, узнав знакомую, безукоризненно ровную руку и подпись под нею: подполковник в отставке Аркадий Валерьянович Норов испрашивал должности при новом министерстве, ведающей ревизией губернской отчётности.

Я перечитал прошение дважды, прежде чем позволил себе поднять глаза на Кочубея, который, судя по всему, уже был осведомлён о его содержании и наблюдал теперь за моей реакцией с тем внимательным, но не выдающим собственного мнения выражением лица, что успел стать для него привычной придворной маской.

— Виктор Павлович, — сказал я, стараясь, чтобы голос мой прозвучал ровнее, чем чувствовал себя я сам, — вам, вероятно, известно, кто таков этот человек и какого рода была наша последняя встреча с ним, без малого пятнадцать лет назад.

— Известно, ваше величество, — коротко подтвердил Кочубей. — Как известно и то, что за все минувшие годы за господином Норовым не числится ни единого доказанного проступка, а связи его с домом Голицыных со временем сделались не менее, а более прочными, нежели были тогда.

— То есть, иными словами, — сказал я, — у меня нет ни малейшего законного основания отказать ему в должности, которую он испрашивает с полным на то формальным правом.

— Ни малейшего, ваше величество, — подтвердил Кочубей без всякой попытки смягчить сказанное, — если, разумеется, мы всерьёз намерены строить правление по закону, одинаковому для всех, а не по личным симпатиям и антипатиям государя, сколь угодно обоснованным.

Строганов и Новосильцев, оба присутствовавшие при этом коротком обмене репликами, предпочли на сей раз промолчать, — и я, глядя на их сдержанное, почти нарочитое молчание, понял с полной ясностью, что оба они пришли, каждый своим путём, к тому же самому неутешительному выводу, что и Кочубей, но не решались произнести его вслух прежде меня самого. Ирония ситуации, признаться, не ускользнула от меня и в этот тяжёлый момент: человек, чья прежняя должность интенданта Семёновского полка позволяла ему годами обкрадывать казну с той же изощрённой аккуратностью, с какой я сам когда-то эту казну ревизовал, теперь испрашивал себе именно ту работу, в которой я некогда видел собственное истинное призвание, — ревизию чужих злоупотреблений во имя государственного порядка. Возможно, думал я, разбирая эту иронию со всей доступной мне на тот момент отстранённостью, Норов и вправду переменялся за истекшие годы, остепенился, нашёл в законной службе то удовлетворение, какого прежде искал в тайном воровстве; но профессиональная моя настороженность, та самая, что не покидала меня со времён порохового склада капитана Хлебникова, подсказывала иное: терпеливый противник, единожды проигравший стычку не по неопытности, а из-за недостатка силы, редко отказывается от поля боя вовсе — он лишь меняет позицию, дожидаясь часа, когда прежнее поражение перестанет что-либо значить.

— Подпишите назначение, Виктор Павлович, — сказал я наконец, хотя каждое слово далось мне тяжелее, чем далось бы иное, куда более значительное государственное решение. — И приставьте к нему, без излишней огласки, человека, которому доверяете безусловно, — не для слежки в прямом смысле слова, а для того лишь, чтобы всякая его ревизия проверялась впоследствии второй, независимой парой глаз.

Кочубей кивнул без дальнейших расспросов, будто ждал именно такого решения с самого начала разговора, и я, глядя на то, как он аккуратно убирает прошение в папку с прочими бумагами, ощутил вдруг всю тяжесть того самого принципа, который сам же полчаса назад отстаивал перед Строгановым с такой уверенностью: закон, единый для всех, оказывается куда легче провозгласить, нежели применить, когда среди этих «всех» оказывается человек, чьё имя ты предпочёл бы никогда более не видеть в казённых бумагах.

Остаток дня прошёл в делах не менее многочисленных, но куда менее памятных, — приём депутации от купечества по поводу пошлин, разбор донесения о состоянии дорог в новгородской губернии, короткая, но обстоятельная беседа с Аврамом Норовым... — я едва не улыбнулся собственной оговорке памяти, машинально смешавшей два никак не связанных между собою имени, — с архитектором, чья фамилия, к счастью, вовсе не имела касательства к утреннему моему собеседнику. К вечеру, когда я наконец освободился от последних неотложных дел и направился в покои жены, тяжесть утреннего решения всё ещё не оставляла меня, хотя внешне, полагаю, ничем себя не выдавала.

Елизавета, уже уложившая Марию и расположившаяся с книгой у камина, отложила чтение, стоило мне войти, — за истекшие годы она научилась безошибочно распознавать по одному лишь моему виду, принёс ли я с собою из кабинета обычную усталость государственных дел или нечто более тяжёлое, требующее не столько отдыха, сколько разговора.

— Сегодняшний день дался тебе тяжелее обычного, — сказала она не как вопрос, а как констатацию, протягивая мне руку.

Я рассказал ей всё без утайки — и о манифесте, и о споре с Новосильцевым и Строгановым, и, наконец, о прошении Норова, — рассказал, пожалуй, подробнее, чем требовалось для

простого пересказа событий дня, будто самым этим подробным изложением надеялся освободиться от тяжести, которую нёс в себе с самого утра. Елизавета выслушала меня, не перебивая, и лишь когда я умолк, задала вопрос, простота которого оказалась куда точнее любого государственного рассуждения, какое я успел выстроить за минувший день.

— А если бы прошение подал не Норов, а человек, тебе безразличный? — спросила она. — Ты подписал бы назначение, не задумавшись и на минуту?

— Разумеется, — ответил я, не колеблясь.

— Тогда в чём же разница? — сказала она тихо, без всякого упрека в голосе, но с той спокойной прямоотой, что я давно уже ценил в ней выше всякой лести. — Закон, который остаётся законом лишь до тех пор, покуда не касается личного врага государя, есть не закон вовсе, а всё та же милость, только вывернутая наизнанку. Ты сам учил меня этому — только, кажется, не на собственном примере.

Я не нашёл, что ответить сразу, — не потому, что возразить было нечем, а потому, что возразить, по чести говоря, было решительно нечего. Мы просидели ещё долго тем вечером у камина, почти не разговаривая, покуда Мария не проснулась в детской с требовательным, уже вполне узнаваемым криком, — и я, поднимаясь, чтобы взглянуть на дочь, унёс с собою мысль, что первое подлинное испытание всей затеваемой мною реформы правления по закону состоится не в зале заседаний и не на страницах манифеста, а в тихом, никому не заметном решении: как долго я сумею смотреть на человека, некогда угрожавшего мне с изысканной вежливостью хищника, теми же самыми глазами, какими смотрю на всякого иного подданного, — не более и не менее пристально.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.